

## Главы из Вспоминаний

Г. А. Авлов

### ПРИЮТ АКТЕРСКОЙ БОГЕМЫ

Если не ошибаюсь, в 1912 году открылся в Петербурге своеобразный уголок, который очень полюбили представители актерской и вообще художественной богемы. Скоротать ночь в этом уголке, куда стекались «жрецы искусства» по окончании спектакля или концерта, было для них очень заманчиво. Ночной кабачок этот носил название «Бродячая собака» и помещался на Михайловской площади (ныне площадь Искусств). Однако этот адрес не является точным: чтобы попасть в «Бродячую собаку», надо было войти в ворота дома (где теперь помещается квартира-музей И. И. Бродского), пройти на третий, самый грязный двор и, увидев неяркий свет лампочки, спуститься в довольно глубокий подвал, где и помещалась «Собака». Такая обстановка была создана, конечно, не случайно: в ней было заложено и стремление уйти подальше вглубь от взоров «непосвященных», и подчеркивание контраста – «красоты», которая найдет себя и еще ярче заблестит, если идущий к ее радостям пройдет мрачный путь трех грязных дворов, и чувство своеобразного «флагеллянтства» – самобичевания – вот до чего доведены мы, «божьей милостью художники», – словом, много настроений, типичных для той эпохи.

Я не могу сказать, как выходили из положения организаторы подвала, чтобы, учитывая небольшую площадь, ограничить доступ посетителей по вечерам – а желающих и имеющих на то «моральное право» было, конечно, немало.

Если не ошибаюсь, основным непрекаемым правом посещения пользовались учредители и члены общества «Бродячей собаки» (неизвестно мне и то, как юридически было оформлено это общество).



Г. А. Авлов

Остальные могли бывать там только по рекомендации на то уполномоченных лиц. Помню, что при входе в подвал лежала большая книга, где входящий должен был расписаться и указать, по чьей рекомендации он явился. Только тогда он удостоивался чести спуститься в «Бродячую собаку», в первую комнату, где стояли столики и была небольшая эстрада для выступлений. Кроме этой комнаты, была еще одна, где находился буфет и можно было закусить и, конечно, выпить стоя, а затем, заняв столик, заказать и ужин.

Во главе этого «собрания веселых друзей» стоял, как гостеприимный хозяин, незаменимый для таких дел человек – Борис Константинович Пронин, с его обаятельной улыбкой, постоянной ко всем благожелательностью. Я помню Бориса Пронина еще с 1906 года – начинающим маленьким актером театра Комиссаржевской на Офицерской (ныне ул. Декабристов) улице. Это был период экспериментов «условного театра» Мейерхольда, которыми, как известно, увлекалась и гениальная русская актриса – пла-

менная любовь всей молодежи – да и не только, конечно, молодежи, наш кумир – Вера Федоровна Комиссаржевская. Я помню почему-то Бориса Пронина в «скульптурной группе» нищих, окружающих сестру Беатрису – Комиссаржевскую (в пьесе Метерлинка того же названия). В этой же группе находились и начинавшие свою деятельность А. Я. Таиров и Н. Н. Урванцов.

Борис Пронин не стал видным актером, не сделал карьеры. Иной была его судьба, его жизнь, которая закончилась не так давно, как и началась – в звании маленького актера театра им. А. С. Пушкина в Ленинграде. Но у Бориса Пронина было другое неопределимое качество. Это был подлинный и совершенно бескорыстный энтузиаст искусства, положительно влюбленный в театр, всегда радостно встречавший успехи товарищей, тонко подмечавший наличие зачатков талантов у молодежи. У него всегда можно было найти ласку, привет и ободряющую теплую улыбку. Борис Пронин и не мог, собственно, сделать карьеру. Он постоянно загорался все новыми и новыми идеями, увлекался новыми проектами создания то приюта для актеров типа «Бродячей собаки», то какого-то нового театра. Абсолютно лишенный каких бы то ни было качеств делового порядка, исключительный мечтатель, – он мог бы, будучи направленным на настоящую дорогу, стать крупным общественным деятелем, отдающим все для конкретной и полезной созидательной работы, но остался лишь в памяти как чистый друг театра, актеров, художников, как обаятельный человек. Тем более хотелось вспомнить о нем здесь.

Мне и моим товарищам не часто доводилось бывать в «Бродячей собаке»: там все же фигурировали «сливки», а нам, отдавшимся делу служения театру «на далекой окраи-

не» – в рабочих районах, – этот мир богемы в общем был чужим. Правда, нас не причисляли здесь к «фармацевтам» (так иронически в «Бродячей собаке» называли посторонних, не принадлежащих к деятелям искусств, но проникающих сюда по рекомендации людей – адвокатов, врачей, служащих в разных учреждениях – людей, находящихся, в общем, около искусства). Но не были мы и «своими», завсегдатаями.

Наблюдать за жизнью здесь было интересно.

Интересно было самое оформление помещения: когда подвал был заарендован, он, конечно, был приведен в порядок, а его стены – чисто выбелены. Но они не имели ни обоев, ни каких-либо украшений. Было решено предоставить эти стены художникам, чтобы они сами, по своей инициативе, покрыли стены своей живописью. Помню, что в этом деле принял активное участие часто посещавший «Собаку» С. Судейкин – и на стенах было немало Арлекинов и Коломбин его работы. Сергей Судейкин бывал здесь часто не один, а с женой – артисткой балета Глебовой-Судейкиной, которая, помимо других своих достоинств, интересовала всех еще и потому, что туалеты ее, как говорили, делались по эскизам мужа. Я помню – мне повезло – как раз в один из вечеров, когда я был в «Бродячей собаке», явилась Глебова-Судейкина в новом туалете. Ее появление было обставлено «торжественно» – затрубил в трубу Борис Пронин, и из-за портьера на ступеньке, ведущей в подвал, появилась и в пластической позе остановилась Глебова-Судейкина в новом костюме. Я не смог бы описать этот туалет – помню только, что это было лишнее каких бы то ни было украшений платье, сшитое наподобие греческой туники, и к платью была приколоты одна роза, подобранная по цвету, как декоративное пятно. Это было, действительно, очень эффектное зрелище, и все присутствующие громко стали аплодировать, приветствуя талантливого художника и его интересную «модель».

В «Бродячей собаке» не было никакой заранее предусмотренной концертной программы. У эстрады стоял прекрасный рояль, и пришедший в этот вечер композитор мог сак-

компанировать свой новый романс, который исполнялся вышедшим на эстраду его спутником – певцом; поэт («Собаку» усердно посещал, например, Бальмонт) читал свои новые стихи; актеры тут же импровизировали какую-нибудь сатирическую сценку. Словом, было похоже на Телемский монастырь у Рабле, на воротах которого была надпись: «Делай что хочешь». Надо было только предварительно шепнуть Пронину, сделать заявку – и он тут же объявлял возникший неожиданно номер.

Помню, как были мы в нашей небольшой компании в «Бродячей собаке». Один из нас – тенор, молодой певец Мариинского театра – очень хорошо пел камерные песни и решил спеть романс Гречанинова на слова Блока. Тут же явилась мысль – после исполнения этой вещи повторить ее, но уже на другие слова – на «местные темы». Сразу был придуман соответствующий текст. Выдумка имела успех, и мы, инициаторы и авторы этого дела, скромно раскланивались на аплодисменты.

Маленькое стихотворение Блока начиналось так:

*Мальчики да девочки  
Вербочки да свечечки  
Понесли домой... и т.д.*

Наш текст (привожу его полностью):

*Девочки да мальчики  
Собрались в подвальчике –  
Время убивать –  
Пить напитки винные  
И биточки псиные<sup>1</sup>  
Вместе улетать!*

*Дни тоски несчастные  
Скитальцы несчастные  
Коротают так.  
Подвал наполняется,  
Стаи все бегаются,  
Бродячих собак.*

Эти немудрящие стихи, вполне, впрочем, эквиритмичные музыке, несмотря на их сомнительный качественный уровень, – как нам казалось, преодолевают религиозную настроенность блоковского текста и поэтому достойны того, чтобы их исполнить. Но в сущности, конечно, это была просто озорная шутка в обстановке «Телемского монастыря» Рабле.

## НЕДОРИСОВАННЫЙ ПОРТРЕТ

В шутовском разговоре о своей жизни и судьбе он часто, стараясь сохранить серьезность, говорил: «Я – сын Его Императорского Величества Фридриха-Вильгельма Третьего Прусского Гренадерского унтер-офицера полка». Ему, конечно, не удавалось мистифицировать окружающих, несмотря на трудность добраться до смысла в запутанной расстановкой слов фразе. Никто не думал, что он побочный сын от какого-то мorganатического брака прусского короля. Но, в то же время, многие (кроме нас, конечно, его ближайших товарищей) не сразу понимали, что акцент должен быть сделан на слове «унтер-офицер» и что отец его – Иван Аркадьев – был солдатом действительно существовавшего с таким наименованием полка русской армии, солдатом (а потом и унтер-офицером) из кантонистов, который провел 25 лет службы в рядах армии Николая I, хлебнувши немало горя, хорошо познавши «почем фунт лиха».

Впрочем, унтер-офицер Иван Аркадьев, который, пройдя солдатскую муштру, потом служил в Варшаве во внутренней охране и, наконец, получивши место смотрителя Домика Петра Великого в Нарве, где и окончил дни свои, – не терял хорошего расположения духа – вспоминал о прошлом не без юмора и даже не без удовольствия.

«Бывало, – рассказывал он своим детям, – на разводе подойдет ко мне Император и спросит:

– Ну что, Аркадьич?

– Ничего, Ваше Величество!

– Всыпать ему сто горячих!» – и заканчивал рассказ характеристикой:

– Шутник был покойничек!

Дети всегда сомневались в правдивости рассказа, не были уверены в том, что царь мог так попросту назвать своего солдата Аркадьичем, да и помнить его в лицо. Не было лишь сомнения у них в том, что «Аркадьич» не раз слышал царское приказание насчет «горячих» – вероятно, и в собственный адрес.

От этого отца, который нашел, наконец, покой в казенной квартире при Домике Петра, и произошел род Аркадиных – братья: Андрей, Кон-



И. И. Аркадин

стантин, Николай, Иван, о котором пойдет речь, – и сестра Ольга.

Однако Иван Иванович не сохранил фамилии отца, а ее чуть-чуть переделал и стал называться Иваном Ивановичем Аркадиным, под этой фамилией прошел свой актерский путь, пронес свою славу, которая могла и должна была быть гораздо большей, если говорить о таланте актера; эта фамилия, очевидно, начертана и на скромном памятнике над его могилой, где-то в Сталинабаде<sup>2</sup>, куда он попал во время войны и эвакуации. О том, что он именно там кончил дни свои, меня недавно известил наш общий друг и товарищ по работе – театральный художник Тихон Дмитриевич Лерман, который случайно был в этом городе и случайно набрел на могилу того, кто оставил по себе у всех его близко знавших нетленную память.

Иван Иванович стал Аркадиным не случайно, а сознательно и намеренно. Из трех его братьев – Николай был банковским работником в Нарве, Константин работал в Петербурге на Обуховском заводе и славился там как изобретатель, рационализатор, как мы бы сейчас его назвали.

Третий брат – Андрей, – не закончив высшего образования в Университете, пошел на сцену и стал известным в провинции актером – Андреем Ивановичем Аркадьевым. Играл он и в петербургских театрах,

в частности в театре Комиссаржевской на Офицерской. Я помню его в роли Левборга в пьесе Ибсена «Гедда Габлер», где он был партнером Веры Федоровны. Помню его и в роли «Человека» в пьесе Леонида Андреева «Жизнь человека» и в других ролях. Но славу он приобрел, главным образом, в «большой провинции». Он был одним из любимых актеров известного антрепренера (одного из культурнейших театральных деятелей того времени) – Дмитрия Ильича Басманова, у которого служил в Одесской антрепризе. Во время моих недолгих скитаний по провинции мне довелось работать с ним в летнем сезоне в г. Смоленске у того же Басманова. Помню то особое удовольствие, которое я испытывал как режиссер, когда ставил пьесы с его участием: это был талантливый, чуткий, тактичный актер, очень гибкий и быстро схватывающий режиссерские задания, с которым могли быть и разногласия, всегда разрешавшиеся чрезвычайно культурно, на базе глубокого взаимопонимания; это был обаятельнейший человек, прекраснейший товарищ без тени зазнайства и сознания своего превосходства как «героя» и «любимца публики». Его в труппе любили все, независимо от ранга и положения, и он был всегда прост со всеми от мала до велика.

Как интересный факт вспоминаю, что я ставил здесь с Аркадьевым – Лаврецким, Болховским (тоже известный провинциальный актер) – Леммом «Дворянское гнездо», где Лизу играла Любовь Васильевна Селиванова, – Любочка Селиванова, как мы все ее нежно называли, – актриса, только что вернувшаяся из монастыря, где несколько лет провела послушницей (я не знаю и не спрашивал о причинах, заставивших ее уйти в монастырь). Она очень хорошо, с большим глубоким чувством играла Лизу, и спектакль прошел в Смоленске несколько раз, что было не так уж обычно для Смоленска и, тем более, для летнего сезона.

Летом 1915 года в Смоленске служил и брат Андрея Ивановича – Иван Иванович, который, как он утверждал, лишней раз убедился в том, что перемена фамилии на «Аркадин» была с его стороны правильным шагом. Шаг же этот имел своим главным источником совершенно

исключительную, несколько даже гипертрофированную скромность, которая была отличительной чертой Ивана Ивановича и которая, как будет ясно из дальнейшего, чуть не закрыла для него навсегда возможность пойти на сцену.

Вступив же на актерский путь, он рассудил так: брат – известный талантливый актер Андрей Иванович Аркадьев – и вдруг тут же (хотя бы и в другом театре) появляется тоже Аркадьев и тоже «Иванов сын», только Иван, а не Андрей! Нельзя, решил любящий брат Иван, портить карьеру Андрею, Нельзя, чтобы догадались, что у Андрея – столь бездарный брат. Сила влечения к театру была велика, отказаться от театра было невозможно. Но унижительно было и сознание, хотя бы предположение, что Ивана Ивановича взяли в тот или иной театр потому, что он брат Андрея, которому надо или хочется сделать приятное, как страшно было думать, что станут говорить: «М-да, этот – не чета Андрею, вот ведь бывает так – один брат – талант, а другой – так, средний актер, только разве что полезность...» – а говорить так будут, должны. Уверенность эта крепла в связи с некоторыми дополнительными причинами, о которых скоро пойдет речь.

Отсюда и театральная фамилия – Аркадьев Иван Иванович стал навсегда актером русского театра Иваном Ивановичем Аркадиным.

О Нарве Иван Иванович всегда вспоминал с нежностью и теплотой, с мягким юмором рассказывал полуанекдотические по характеру, но действительно почерпнутые из жизни факты. Там он прожил безвыездно тридцать три года. «Тридцать лет и три года», – добродушно подшучивали мы над ним, называя Ильей Муромцем. Но на богатыря русского маленький и полненький «Ванька Аркадин», не очень складно сложенный, с большой головой, но красивым, умным, каким-то особенно благородным лицом был совсем не похож. И не калики перехожие дали ему силу для того, чтобы оторваться от родных берегов и пуститься в Петербург, в столичный город, навстречу неизвестному.

Старик Аркадьев стремился дать детям образование. Не все они, как Андрей, дошли до Университета, но так или иначе известное образо-

вание получили. Ванюша стал исключением. Его отдали в Нарвскую классическую гимназию, но он не пошел дальше 2-го класса и, убоившись «бездны премудрости», на этом кончил свою ученую карьеру.

И здесь уместно, может быть, отметить: когда у нас с Аркадиным началась крепкая и долгая дружба, совместные скитания («Передвижной театр», о чем будет сказано особо, и др.), совместная жизнь, общее «хозяйство», я, получивший высшее образование (кончивший и окончивший юридический факультет Петербургского университета), имевший культурные традиции семьи, где жил среди людей, причастных к театру, литературе, музыке, обладавший и сам некоторыми знаниями и общей культурой, – никогда, ни на одну минуту (утверждаю это со всей ответственностью) не чувствовал себя выше в духовном отношении Ивана Ивановича. У него, несмотря на неполное образование двух классов гимназии, были и знания, приобретенные им «приватно» – пусть не широкие и глубокие, была горячая любовь к родной литературе и театру, был какой-то умный взгляд на людей и на жизнь, душевная тонкость и чуткость. Он многое понимал, многое мог «вместить» интуицией, каким-то шестым чувством. Он не был аполитичным, у него было свое политическое «кредо», убеждения человека из народа, демократа, страстно ненавидящего неправду самодержавно-буржуазного строя. Он не был, конечно, революционером, было бы странно представить себе актера Аркадина, для которого жизнь сосредоточивалась в театре, – в роли борца за высокие идеалы революции. Но эти идеалы и их носители были всегда близки и дороги ему, гуманисту, жаждавшему справедливого строя и справедливых отношений между людьми.

Вот почему наши отношения, простые и товарищеские, были в то же время отношениями настоящей дружбы в лучшем смысле этого слова, взаимного понимания и взаимного уважения. Может быть, этим объясняется тот, на первый взгляд, странный факт, что, несмотря на нашу близость, на ту легкость, с которой почти всегда сходились актеры, переходя на «ты», на «Ваньку» или «Гришку», после «брудершаф-

та» или без него, мы всегда были на «вы» и называли друг друга по имени и отчеству, только шутя иногда переходя на шутливое фамильярничанье, где Аркадин говорил мне «Александрыч», а я ему – «послушайте, Ванька Аркадин!» Но это были редкие случаи такого рода, при которых «вы» все же сохранялось. Так это было в течение всей нашей совместной жизни, так и оставалось до конца – в периоды наших редких и случайных встреч.

Вернемся, однако, к прерванному рассказу.

«Любезный сын» (как величал часто в письмах своих детей старик Аркадьев) – Ванюша – «не достиг».

Незаконченного двухклассного образования было, конечно, недостаточно. Отец чрезвычайно огорчился. Он долго жаловался на свою судьбу, усиленно подчеркивая, что всю жизнь для счастья детей «бился как рыба об кошку» (у него была странная манера коверкать пословицы, подлинный текст которых забывал, а в собственных вариантах о смысле не заботился) – и вот печальный итог: сын уволен из второго класса. Он грозил, что отдаст Ваньку «в сапожники», но угрозы своей, однако, в исполнение не привел.

Иван Иванович благодаря ходайству банковского служащего – брата Николая – был принят в тот же



И. И. Аркадин

банк в качестве рассыльного мальчика. На его обязанности лежало разносить по домам или на почту повестки, пакеты и т. п. Отец, по своей родительской обязанности, направлял малоопытного еще рассыльного на путь истинный. «Ты, Ванюшка, – говорил старик, – когда придешь в дом, сдашь пакет, получишь расписку, – сразу не уходи, а потопчись немного на месте. Тогда господа вспомнят о тебе и дадут “на чай”. Смотришь – и лишний двугривенный в кармане». Но Ваня не принял этого совета. Он считал ниже своего достоинства «топтаться» во имя лишнего двугривенного, и потому должность его была не очень доходной. Но помогло продвижение по службе. Способного и смышленного мальчика заметили, и скоро он из рассыльного превратился в счетного работника банка, а через некоторое время получил и «пост» помощника бухгалтера. Дальше этого Иван Иванович не пошел, не потому только, что не хватало образования, но и потому, что не к банковской карьере он стремился.

Обстановка маленького городка Нарвы не засосала его. Его зоркий глаз, умение видеть, своеобразное ироническое отношение к мещанскому укладу жизни, к ограниченности обывателя и привело к тому, что он накопил немалое количество впечатлений о той жизни, впечатлений, которые пригодились ему потом на сцене.

(Будь у него интерес к писательской деятельности, он мог бы, вероятно, написать немало очерков или рассказов, героями которых были бы те, по-своему своеобразные люди, с которыми он сталкивался в своей банковской работе и в личной жизни).

Он не записывал всего этого, но его память сохранила немало образов нарвских «монстров», беглые зарисовки которых он мастерски излагал в своих устных воспоминаниях.

Помню я, например, какого-то ротмистра уланского или гусарского полка, местного «философа», мудрые высказывания которого о преимуществах военной службы текстуально приводил Иван Иванович: «На военной службе, – говорил тот нарвский мыслитель, – при уме да при способностях, при деньгах да при протекции, при красоте, да если

счастье повезет, – можно далеко пойти».

Мы немало смеялись, представляя себе этого апологета военной карьеры, который ко всем необходимым условиям достижения ее вершин прибавлял еще необходимое условие «везения» и этим лишал собеседника возможности возражений, не понимая того, что это «если счастье повезет» в сущности освобождает бравого ротмистра от всего, что содержится в его перечне.

Ярко вставал перед нами в рассказах Ивана Ивановича и образ какого-то его сослуживца по банку, чем-то напоминавшего Хирина из чеховского «Юбилея». Аркадин передавал в лицах с очень сочными интонациями диалог, который вел с ним его сослуживец, увидевший в окно идущую по улице жену. С нескрываемым раздражением, глядя в окно, этот брюзга говорил:

- Гм... пошла.
- Кто?
- Да... жена...
- Ну и что ж?
- Гм-гм... с зонтиком!

Этот «зонтик», под которым, очевидно, скрывалась вся сила раздражения, ощущалась опустылевшая «Хирину» его безрадостная жизнь в семье, звучал трагикомически, и очень выпукло рисовалась нам фигура говорящего, тем более что Аркадин, не доверяя своей актерской выразительности, дополнял рассказ и описанием наружности и манер собеседника.

Пьянство, картежная игра, озорные поступки – все, что является следствием одуряющей скуки провинциальной захолустной жизни, все видел у себя в Нарве Иван Иванович и недаром как образец житейской нелепицы приводил в пример одного акцизного чиновника, который, являясь подвыпившим в субботние вечера в эстонский клуб, где мирные обыватели устраивали семейные танцы и играли «по маленькой» в «коммерческие игры», входил в зал, властным жестом останавливал тапера, с усердием игравшего «польку-мазурку», и, обращаясь к танцующим, поневоле остановившимся, громким голосом оскорбленного в лучших чувствах обличителя говорил: «Кто сказал?... – за этим следовало непечатное слово. – Я не позволю, чтобы в порядочном обществе выражались по-

добным образом!» И растерявшиеся старшины клуба, вместо того чтобы «честью попросить» разбушевавшегося скандалиста и вывести из зала, подходили к нему и убеждали: «Никто не говорил... Успокойтесь, пожалуйста, никто не говорил!» Но расходившийся блюститель нравственности еще долго мешал мирному веселью, твердя: «Нет... я не позволю... Кто сказал?!»

Ивана Ивановича не засосала эта провинциальная тина. Его спасал присущий ему оптимизм, умение видеть смешные стороны в явлениях, которые другого приводили бы в содрогание или вызывали бы отвращение, какая-то спокойная мудрость и вера, как у чеховских героев, в прекрасную жизнь, которая должна наступить и наступит, быть может, и раньше, чем «через 200-300 лет». Он добросовестно делал свое бухгалтерское дело в банке, перед ним проходила вереница клиентов, и он, зная каждого, мысленно каждому давал свою меткую характеристику, подмечая особенности манеры каждого и в тесном кругу воспроизводя эти особенности. Он даже любил этот уклад, систему банковской работы, ее плановость, ее установленные формы, книги, записи, необходимость точного учета денег, которые, как хорошо было известно и клиентам, и служащим, «счет любят».

Сам он в свою личную жизнь в театре не внес этой плановости, этого порядка. Напротив, влюбленный в театр и только ему отдавая все свои чувства и мысли, окруженный любовью товарищей и друзей, но лишенный семьи, которую он и не пытался строить, – Иван Иванович в своем быту был беспорядочен. Он не умел «устраиваться», жил всегда «на авось», мало думая о «черном дне». Он всегда нуждался в деньгах – и не потому, что вел какой-либо «роскошный» образ жизни, а потому, что не умел и не знал, как с деньгами обращаться. Как обедневший испанский идальго носит свои лохмотья так, как будто на нем самые дорогие одежды, – Иван Иванович носил свой потрепанный костюм или основательно «траченное» молью демисезонное пальто (зимнего у него, кажется, – по крайней мере в тот период, в который мы вместе работали и жили, – не было). Иногда на него находили

«припадки» благоразумья. Тогда он заявлял нам, его ближайшим товарищам, что объявляет себя «на положении усиленной охраны». Составлял и писал параграфы этого Положения («не курить», «не пить», «вставать в такое-то время» – все по часам!). Прикреплял эти инструкции над своей кроватью и говорил: «С завтрашнего дня начинаю новую жизнь и буду другим человеком. Завтра вы меня не узнаете и при встрече спросите: “Кто это такой?” Мы одобряли эти благие намерения, стараясь и виду не подавать, что это те самые камни, которыми «вымошен ад», и всемерно помогали другу осуществить их, не соблазняя его ни папиросами, ни ужинами после спектакля и т. п. Но проходило время (немного дней), и Иван Иванович, махнув рукой на «усиленную охрану», покупал пачку папирос и в ответ на наши упреки с серьезным лицом говорил: «Я господин своему слову, хочу – даю, хочу – беру обратно».

Только в одном отношении сохранились у него навыки банковского служаки: он любил аккуратные тетради, напомиавшие ему банковские книги, где заносится «дебет» и «кредит». Он любил заводить такие тетради и, разграфив их, записывать там свои, как он их называл, «денежные операции», где одна сторона посвящалась записи кредиторов, у которых он брал займы. Делать краткосрочные займы он был большой мастер. Нельзя было отказать этому обаятельному человеку, когда он с милой улыбкой просил на несколько дней небольшую сумму, ссылаясь шутя на то, что «в дороге поиздержался», или пользуясь какой-либо другой подходящей цитатой. Но когда наступал срок платежа и иные нетерпеливые кредиторы напоминали ему, что, мол, пора рассчитаться, он обезоруживал их всегда повторявшейся фразой, не отрицая факта нарушения сроков: «Я не понимаю, чего вы так волнуетесь? В желтой тетрадке все записано». «Кредиторы» знали эту «желтую тетрадку», в аккуратных графах которой бывший банковский клерк Аркадин записывал «движение сумм», и больше не беспокоили его, понимая, что рано или поздно долг будет погашен.

Трудно сказать, то ли Иван Иванович брал займы потому,

что без этого не мог свести свой бюджет (было и это, займы при его непрактичности мало помогали), или для того, чтоб удовлетворить свою потребность вести какие-то бухгалтерские записи. Как это ни странно, но тут была и эта сторона, а не только стремление увеличить суммы «оборота» сверх зарплаты.

Много лет спустя он, будучи известным в Москве актером Камерного театра, организовал по собственной инициативе для работников театра библиотеку, отдав туда все свои книги и получив огромную поддержку от товарищей, наперевод старавшихся помочь делу, которое добровольно, в общественном порядке стал делать Аркадин. Конечно, он прекрасно понимал культурное значение библиотеки, понимал, какую помощь оказывает работникам театра, которые могут тут же, в любое время зайдя в артистическую уборную Ивана Ивановича, получить книгу. Но несомненно, и тут сказались вкоренившаяся в него любовь к аккуратному и правильному делопроизводству. Он с громадным удовольствием вел все библиотечные записи, создав для этого свою систему: у него, единственного работника библиотеки, была своя «желтая тетрадка», и он был чрезвычайно счастлив, что может, кроме своей любимой актерской работы, делать и такое увлекательное общественное дело.

Не могу не отметить здесь с досадой, которая до сих пор живет во мне: в издававшемся тогда журнале «Рабис» (дело было примерно в 1925 году) появилась статейка, посвященная библиотечной деятельности Ивана Ивановича, с его портретом. В той статейке неряшливый автор все время называл Аркадина почему-то Иваном Павловичем. Не склонный к шумихе и саморекламе, Иван Иванович добродушно отнесся к «описке», и я привожу этот факт как иллюстрацию к тем «гримасам жизни», которых было немало у Аркадина.

Но вернемся к его жизни в Нарве. Помимо других причин, создававших Аркадину «иммунитет», благодаря которому в него не вселилась опасная инфекция провинциальной «обывательщины», была одна, главная: в Нарве существовало, как во многих в то время провинциальных городах,

«Общество любителей драматического искусства». В Обществе том регулярно устраивались любительские спектакли, в которых активное участие принимал Иван Иванович. С течением времени он приобрел сценический опыт, накопил репертуар. Как актер-любитель он пользовался любовью зрителя, но, конечно, успех его несколько приглушался самими членами кружка: любители были всегда ревнивы к чужим успехам и старались не допускать, чтобы кого-либо выделяли особо; «закулисные интриги», скрытая или явная зависть имели большое значение.

Как бы там ни было, после 33 лет пребывания в Нарве, почувствовав в себе какие-то возможности, несмотря на привычный скептицизм в отношении своих талантов, несмотря на отсутствие твердой веры в себя, Иван Иванович отправился в Петербург «наниматься в актеры», как он говорил. Я не знаю точно, готовил ли для него (скрытно от него) почву брат Андрей (кажется, какое-то участие он принимал) или он сам решил «броситься в воду» и попытаться выплыть, – он явился прежде всего на Мойку, в театр Л. Б. Яворской.

И там произошел его исторический разговор с руководством театра, о котором он охотно рассказывал.

Он пришел в незнакомый ему настоящий театр и вместо того, чтобы «общаактерским тоном», как его называл Аркадин (он терпеть не мог этот тон «жрецов искусства»), поведать о своем таланте, успехах, показать несколько хвалебных рецензий в нарвской газете, – он сказал просто и скромно: «Хочу работать у вас в театре». Но не успел его собеседник приступить к вопросам, которые полагается задавать в таких случаях, Аркадин торопливо добавил: «Но прошу иметь в виду, что профессионального опыта у меня нет, актер я вообще плохой и к тому же заикаюсь».

Разговор, конечно, не состоялся. Руководитель вежливо дал понять, что перечисленные качества не обнадеживают и что, пожалуй, странному посетителю лучше заняться чем-либо другим. Так и ушел ни с чем будущий актер Аркадин, сделавший такой неудачный первый шаг на пути своей сценической карьеры.

Неудачный, но необходимый. Лучше сказать все, как оно есть на самом деле, чем пустить пыль в глаза, обмануть человека. Ложь и обман были не в натуре Ивана Ивановича.

Я не знаю, мог ли обмануть опытного руководителя этот претендент на службу в театре, не заметил ли руководитель сразу какую-то странность в речевой манере посетителя или этот последний напугал все свои силы и короткий разговор прошел гладко. Это бывало в практике Ивана Ивановича, но все же сказать о заикании было необходимо, все равно этого скрыть нельзя.

Да, он был заикой, этот прекрасный актер с таким чудесным большого диапазона голосом, с такой благородной внешностью. Он был и маленького роста. Но этому горю можно было помочь: став твердо на актерской дороге, он заказал себе ортопедическую обувь, которая увеличивала его рост до среднего. Эту обувь мы в шутку называли «домкратами» и сердились, когда Иван Иванович стремился пользоваться ею во всех ролях (кроме, конечно, костюмных, где нужны были туфли или сандалии) – сердились, говоря: «Вы разве карлик? Почему такой-то (называлась роль) не может быть нормально маленького роста, зачем Вам искусственные приспособления, которые всегда ограничивают движения? (А двигался маленький и довольно плотный Иван Иванович прекрасно и легко.) «Да, я карлик», – шутя отвечал Иван Иванович, надевая на ноги свои «домкраты», которые берег как зеницу ока. Но заикание... здесь не поможешь делу искусственными приспособлениями.

Это была скрытая драма прекрасного актера, это была никому не ведомая трудность, которую приходилось преодолевать дополнительно к трудностям работы над ролью, созданию художественного образа.

Заикался Иван Иванович, и подчас очень сильно (особенно, ког-

да нервничал), в жизни. Мы никогда не торопили его, всегда терпеливо ждали, пока пройдет припадок и он вновь обретет ритм своей речи. Он никогда не заикался на спектакле, силой воли заставляя себя говорить без вынужденных остановок. На сцене, впрочем, бывали и запинки, но видные только тем, кто знал эту болезнь Ивана Ивановича, и незаметные для зрителя. Я помню один случай, когда в монологе, написанном стихами, он вдруг остановился на каком-то слове. Наступила угрожающая пауза. Я, помня текст его монолога, из-за кулис «подал» ему этот текст, хотя он его прекрасно знал. Это подтолкнуло его, и он продолжал гладко говорить свои стихи. Зрительный зал понял эту остановку как момент сильного переживания, когда перехватывает дыхание, и принял паузу как должное.

Но Иван Иванович заикался на репетициях, и это было самое трудное для него и окружающих. Бывало, идет репетиция, с тетрадка-ми в руках произносит свои реплики актеры, ждут от Аркадина ответной реплики, без которой нельзя идти дальше, а он бьется на какой-либо букве не в силах произнести слова, и на лице его – страдание от усилий или выражение беспомощности. Надо отдать справедливость чуткости товарищей. Все, зная болезнь Ивана Ивановича, либо ждали, пока он заговорит, не выражая никаких признаков нетерпения, либо говорили: «Ладно, пойдем дальше», – и продолжали репетировать. «Ваньку Аркадина» все любили, и все стремились помочь ему, тем более, что ждали, и вполне справедливо, что роль-то он сыграет хорошо. А «Ванька Аркадин», работая над ролью дома, не только вдумывался и вчитывался в нее, не только готовил ее, как это полагается актеру, не только заучивал текст, но и редактировал ее для себя, меняя, где это было нужно и возможно, иногда расстановку слов, а иногда и самые слова, – оправдывая эти замены

стереотипной фразой: «Это слово трудно для заикания».

После неудачи в театре Яворской Иван Иванович отправился к руководителям другого театра – Передвижного театра – к Надежде Федоровне Скарской и Павлу Павловичу Гайдебурову. Эти люди со свойственной им чуткостью встретили Аркадина, поверили в него, несмотря на его недостатки, окружили вниманием и заботой. Иван Иванович Аркадин стал актером известного в России Первого передвижного драматического театра, вписавшего немало славных страниц в историю русского демократического театра.

Так начался славный и трудный путь прекрасного русского актера, обаятельного человека, незабвенного друга Ивана Ивановича Аркадина. Путь этот был долгий, он продолжался свыше 30 лет, путь этот был сложный, но, независимо от того, где работал Аркадин, он всегда по самой природе своей был актером-реалистом и не искажал, органически не мог исказить этой природы даже тогда, когда, казалось бы, обстановка обязывала стать на новые рельсы.

Я говорил о длительном периоде его работы в Камерном театре, далеко от методов реализма. Сказать ли, что Аркадин был инородным телом в этом театре? Но тогда он не мог пробыть в нем так долго. Но можно, не искажая истины, сказать: Аркадин оставался как художник всегда самим собой, и с этим театру приходилось считаться.

Вопрос, здесь затронутый, требует, конечно, специального рассмотрения в посвященной заслуженному деятелю искусств Ивану Ивановичу Аркадину специальной монографии, которой он вполне достоин и которая была бы весьма полезна для театральной молодежи. Здесь же я даю лишь небольшой эскиз, посвященный началу творческого пути актера, предоставляя возможность другим дорисовать этот недорисованный портрет.

<sup>1</sup> Дело в том, что в меню ужина в «Бродячей собаке» было постоянное дежурное блюдо – «собачьи битки» – не в буквальном, конечно, смысле.

<sup>2</sup> Душанбе.

